

МОЙ КУПРИН

Марина Цветаева в эссе «Мой Пушкин» писала, что Пушкин ей, ребёнку, явился как «огромный сине-лиловый том». Мне в детстве Куприн явился как белый трёхтомник. Это был «мой Куприн». И первое, что я, десятилетней девочкой, узнала о «моём Куприне», было то, что у него с мясом вырвали пуговицу, а его самого высекли розгами.

Дело было так. Когда Буланин попал в кадетский корпус, где провожавшая его мать говорила какому-то начальнику: «Уж вы, пожалуйста, с ним не по всей строгости, он у меня такой нежный... такой впечатлительный... он совсем на других мальчиков не похож», я сразу поняла, что Буланин — это Куприн.

И когда один из старших кадетов в первый же день вырвал у Буланина с мясом пуговицу, так старательно, «двойной провощённой ниткой», пришитую мамой, я расплакалась. Вытерев слёзы, я стала читать дальше и, когда дошла до места, где Буланина приговорили к телесному наказанию в размере десяти ударов розгами и он в «маленьком масштабе испытал всё, что

чувствует преступник, приговорённый к смертной казни», твёрдо решила прочитать всё, что написал Буланин-Куприн, и как можно больше узнать о нём самом.

И узнала, что родился он 26 августа, в годовщину Бородинского сражения, и был назван в честь Александра Невского (то-то, кадет, юнкер, поручик, он станет защитником Отечества на разных этапах истории). Родился в уездном городишке Пензенской губернии Наровчат, о котором шутили: «Наровчат, одни колышки торчат».

Его отец, Иван Иванович Куприн, был классическим «маленьким человеком», мать же, Любовь Алексеевна Колунчакова, напротив, княжеских, восточных кровей. В 33 года она станет вдовой, а годовалый Саша — безотцовщиной. В ближайшие двадцать лет Саша в полной мере почувствует себя сиротой. Особенно остро во Вдовьем доме (в Москве, на Кудринской площади), куда будет приходиться к матери: «Меня заставляли целовать ручки у благодетелей, — у мужчин и у женщин... Прислуга втихомолку издевалась над нами: дразнила меня горбатым... а мою мать называла приживалкой и салоппницей». (Я тоже в детстве потеряла отца, соседка презрительно называла меня «безотцовщиной», и я знаю, как это больно.)

За первый рассказ «Последний дебют», опубликованный 3 декабря 1889 года, юнкера Куприна посадили на гауптвахту. Он потом жалел, что не выпороли: может, тогда он бросил бы писать, ибо «нет горше хлеба на свете», чем пи-

сательский. Но не выпороли — и в литературе явилось новое имя: Куприн.

Всероссийскую — и даже мировую — славу Куприну принесла повесть «Поединок». Её основой послужил опыт службы Куприна в сорок шестом Днепровском пехотном полку. В этой повести, написанной в год поражения России в Японской войне и в год первой русской революции, Куприн, что называется, попал в нерв событий.

Перед глазами главного героя повести Ромашиова (и читателей) проходит вереница, чтобы не сказать галерея, образов офицеров — невежественных, грубых, жестоких. Куприн впервые в русской литературе показал русскую армию изнутри. И русскому читателю стало понятно, почему эта армия потерпела поражение. Одни офицеры, прочитавшие книгу, предали Куприна анафеме, другие, узнав в её героях себя, придумались. Генерал Пётр Краснов писал Куприну: «...тогда я понял, что многое блесит у нас не золотом, а позолотой, и со всею силою молодого организма я принялся за работу, чтобы исправить те прорехи, на которые Вы указали со всею силою Вашего таланта». А некто Князев в памфлете 1918 года «Красный трибунал. Процесс первый. Дело А. Куприна» заявлял: «Февральский переворот был совершён сказочно — легко и безболезненно благодаря повести Куприна «Поединок».

Сам же Куприн в 1926 году каялся: «...никогда не следует писать ничего, что выставляет вашу родину в плохом свете... Всё в ней (повести

«Поединок». — *И.К.*) было верно, но я был не прав».

Что же это за книга — «Поединок»? Помнится, когда я прочла её в том самом белом трёхтомнике, я вычитала совсем другое. Может, эта книга и была об армии, но я узнала об ином поединке. О женской жестокости. Коварстве. Цинизме.

Шурочка Николаева, несмотря на свою красоту и образованность, оказалась хуже самого последнего офицера-мужчины. И если кому-то эта книга объяснила исход Русско-японской войны и начало Февральской революции, то мне — вечное противостояние между мужчиной и женщиной.

Мой Куприн был не только военным. Он сам набросал краткий перечень своих профессий. Он был «репортёром,

управляющим при постройке дома,
разводил табак — махорку-серебрянку
в Волынской губернии,
служил в технической конторе,
был псаломщиком,
служил на сцене,
изучал зубоврачебное искусство — исключительно протезную технику (изготовление искусственных зубов),
давал уроки детям,
пробовал постричься в монахи,

был заведующим учёта кузницы и столярной мастерской при сталелитейном и рельсопрокатном заводе в Волынцеве,

в течение одного лета служил в артели подрядчика в Киеве по переноске мебели фирмы Лоскутова,

носил кирпич на козе,

работал осенью на разгрузке арбузов».

К. Чуковский, хорошо знавший Куприна, писал: «Вечно его мучила жажда исследовать и понять, изучить, как живут и работают люди всевозможных профессий...» И, добавим, не только люди.

Герой Куприна Платонов из повести «Яма», который уж точно является alter ego автора, заявляет: «...я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой или побыть женщиной и испытать роды...» Но Куприн был не только любознательным, но и отважным: он поднимался на воздушном шаре и опускался в скафандре на дно моря. И это в начале прошлого века!

В том самом белом трёхтомнике были у меня две любимые трилогии: о чудесах («Белый пудель», «Чудесный доктор», «Слон») и о любви («Олеся», «Суламифь», «Гранатовый браслет»).

Ведь о чём ином рассказ «Белый пудель», где полунищий старик отказывается продать собаку, а мальчик-сирота, рискуя жизнью, эту собаку спасает, как не о величайшем чуде нашей жизни — дружбе? А «Чудесный доктор», где

доктор Пирогов совершает настоящее чудо — спасая целую семью от болезни и голода — чудо милосердия? А рассказ «Слон»? Там отец своими руками делает для больной дочери чудо — приводит к ней, болеющей равнодушием к жизни, живого слона. И девочка исцеляется. (Этот рассказ для меня перекликается с «Алыми парусами», где герой тоже совершает рукотворное чудо: оснащает корабль алыми парусами, которых так ждёт Ассоль).

Куприн не объединял свои рассказы в трилогии — так уж получилось. И первая повесть в трилогии о любви — «Олеся» (1898 год). О любви «паныча» и «колдуньи». О двух мирах, которым не дано сойтись, ибо мир Ивана Тимофеевича, цивилизованный христианский мир, оказывается жестоким и бездушным. Когда Олеся приходит в церковь, христиане решают вымазать её дёгтем, а когда она бежит, «вслед ей вместе с бранью, хохотом и улюлюканьем» летят камни. Понимая, что не сможет дать счастья любимому, Олеся исчезает из его жизни, оставив после себя «нитку дешёвых красных бус» (как порез на сердце) на память о своей «нежной, великодушной любви».

Второй текст — рассказ «Суламифь» (1907), обработка библейской «Песни песней», о любви величайшего из царей Соломона и простой девушки из виноградника. (Рассказ написан во время душевного подъёма, связанного с женщиной, ставшей второй женой Куприна, Елизаветой Морицовой). Максим Горький удивлялся, зачем Куприну понадобилось писать «Сула-

мифь», если есть «Песнь песней». Но библейский текст при всей своей поэтичности лишён психологии любви и ревности, в нём как бы нет плоти и крови, звуков и запахов — всего того, что есть у Куприна. Я, будучи пятиклассницей, читавшей первоисточник (мой дед был пастором), рыдала именно над «Суламифью».

Ну и наконец, третий текст — «Гранатовый браслет» (1911), который можно было бы назвать «жемчужиной», если бы это не звучало парадоксально. На этот раз Горький, что называется, проникся. Прочитав на Капри рассказ Куприна, он ликовал: «А какая превосходная вещь «Гранатовый браслет» Куприна!.. Чудесно! И я — рад, я с праздником! Начинается хорошая литература!»

Говоря о «Гранатовом браслете», спорят о прототипах. Сам Куприн писал: «Это... печальная история маленького телеграфного чиновника К. П. Жолтикова, который был так безнадежно, трогательно и самоотверженно влюблён в жену Любимова». У Любимовых, бывших родственниками его первой жены Марии Карловны, Куприн увидел юмористический альбом и услышал историю о человеке, который несколько лет преследовал Людмилу Ивановну Любимову. Любимовы считали его психически больным. У Куприна же «маленький» человек, восемь лет «безмолвно, безнадежно» любивший женщину не своего круга и по первому требованию прекративший — вместе с жизнью — свои ухаживания, превращается в «великого»: княгиня Вера, посетившая самоубийцу, замечает на его лице

«глубокую и сладкую тайну» и вспоминает, что подобное выражение видела на посмертных масках Пушкина и Наполеона.

Но вернусь к жизни «моего Куприна». На его долю выпало многое, в том числе Октябрьская революция 1917 года. Как чувствовал себя Куприн «под большевиками»? «Я признаю советскую власть, — писал он. — Но если меня дружелюбно и пытливо спросят, уважаю ли я эту власть... в глазах моих никто не прочтёт стыдливого признания». Новая власть не расстреляла бывшего юнкера Куприна — она убила его любимую собаку Сапсана. Когда Сапсан пропал, Куприн вспомнил свой конфликт с красноармейцами и... помчался на свалку. Разгрёб руками снег и, увидев труп друга с простреленной головой, разрыдался.

Впрочем, когда в 1919 году Куприн ушёл с белогвардейцами — по сути, героями своего «Поединка», — он не стал счастливее. Куприн страшно скучал по родине — и в Финляндии, и в Париже. («Чем талантливее человек, тем труднее ему без Родины», — писал он в одном из писем.)

А любимого кота Куприна, Ю-ю, бывшего другом его парижского дома, в конце 1931 года кто-то убьёт камнем. (Как тут не вспомнить пушкинское:

И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.)

Куприн прожил в Париже 17 лет. Эмиграция его не любила, ибо видела, что ненависти к Со-

ветской России у него нет. Да и как у Куприна могла быть ненависть — к России?

Диву даёшься, что в эмиграции, в возрасте 58 лет, Куприн напишет такую русскую, такую молодую вещь, как «Юнкера». Где главный герой Александров «твёрдо решил дожить только до тридцати лет, а потом застрелиться», ибо «стоит ли продолжать жить древним старцем, хладеющей развалиной». Где «запах снега так вкусен, мороз так весел, быстрое движение так упорно гонит горячую кровь по всему телу».

Куприн должен был вернуться в Россию — и вернулся. Эмигрантка Тэффи писала: «Его уход — не политический шаг... Не к ним он ушёл, а от нас, потому что ему здесь места не было. Ушёл, как благородный зверь, — умирать в свою берлогу». Куприн ехал на родину умирать.

Помимо слепоты, поразившей Куприна в последние годы жизни, врачи определили у него склероз мозга и сердца.

«Я бы, кажется, если бы мог, пошёл бы в Россию по шпалам...»

«— Как же вы поедете, Александр Иванович? Ведь там большевики.

— Разве в России большевики?»

На дворе стоял 1937 год, и у Родины были на Куприна планы. Гослитиздат выпустил двухтомник писателя. Его рассказ «Тень Наполеона» был напечатан в советском журнале «Огонёк». Самому писателю предоставили четырёхкомнатную квартиру в «Доме специалистов». Плиту

здесь нужно было топить дровами, и, глядя на огонь, Куприн говорил: «Какая прелесть! Своя печка, свой огонь, и дрова трещат так, как они умеют трещать только в России!»

Вернувшийся в Россию Куприн радовался: «Мне пишут сейчас люди, которых я совершенно не знал раньше; пишут они с такой сердечностью и теплотой, точно мы давнишние друзья». И признавался: «Даже цветы на родине пахнут по-иному...» Куприн мечтал писать «для чудесной советской молодёжи и пленительной советской детворы», оговариваясь: «позволит ли мне здоровье». Здоровье не позволило.

В ночь на 25 августа 1938 года, за день до 68-летия, Александра Ивановича не стало. Он умер на родине. Как и хотел.

...Я думаю, что он, на этом свете поднимавшийся на воздушном шаре и опускавшийся в скафандре, наверняка задумывался о том, есть ли тот свет и что будет с человеком за гробом.

Теперь он знает и это.

Инна Кабыш

КУСТ СИРЕНИ

Николай Евграфович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери, и, не снимая пальто, в фуражке прошёл в свой кабинет. Жена, как только увидела его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое несчастье... Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте, глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель, который упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув сложенными вместе пальцами...

Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня представлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу — инструментальную съёмку местности...

До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному Богу да жене Алмазова было известно, каких страшных трудов они стоили... Начать с того, что самое поступление в акаде-

мию казалось сначала невозможным. Два года подряд Алмазов торжественно проваливался и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточно энергии, махнул бы на всё рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нём бодрость... Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти весёлым лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа хотя и дешёвый, но всё-таки необходимый для занятого головной работой человека комфорт. Она бывала, по мере необходимости, его переписчицей, чертёжницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой.

Прошло минут пять тяжёлого молчания, тоскиво нарушаемого хромым ходом будильника, давно знакомым и надоевшим: раз, два, три-три: два чистых удара, третий с хриплым перебоем. Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки и отворотившись в сторону... Вера стояла в двух шагах от него также молча, с страданием на красивом, нервном лице. Наконец она заговорила первая, с той осторожностью, с которой говорят только женщины у кровати близкого трудного человека...

— Коля, ну как же твоя работа?.. Плохо?

Он передёрнул плечами и не отвечал.

— Коля, забраковали твой план? Ты скажи, всё равно ведь вместе обсудим.

Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздражённо, как обыкновенно говорят, высказывая долго сдержанную обиду.

— Ну да, ну да, забраковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Всё к чёрту пошло!.. Всю эту дрянь, — и он злобно ткнул ногой портфель с чертежами, — всю эту дрянь хоть в печку выбрасывай теперь! Вот тебе и академия! Через месяц опять в полк, да ещё с позором, с треском. И это из-за какого-то поганого пятна... О, чёрт!

— Какое пятно, Коля? Я ничего не понимаю.

Она села на ручку кресла и обвила рукой шею Алмазова. Он не сопротивлялся, но продолжал смотреть в угол с обиженным выражением.

— Какое же пятно, Коля? — спросила она ещё раз.

— Ах, ну, обыкновенное пятно, зелёной краской. Ты ведь знаешь, я вчера до трёх часов не ложился, нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминирован. Это все говорят. Ну, засиделся я вчера, устал, руки начали дрожать — и посадил пятно... Да ещё густое такое пятно... жирное. Стал подчищать и ещё больше размазал. Думал я, думал, что теперь из него сделать, да и решил кучу деревьев на том месте изобразить... Очень удачно вышло, и разобрать нельзя, что пятно было. Приношу нынче профессору. «Так, так, н-да. А откуда у вас здесь, поручик, кусты взялись?» Мне бы нужно было так и рассказать, как всё было. Ну, может быть, засмеялся бы только... Впрочем, нет, не рассмеётся — аккуратный такой немец, педант. Я и говорю ему: «Здесь действительно кусты растут». А он говорит: «Нет, я эту местность знаю, как

свои пять пальцев, и здесь кустов быть не может». Слово за слово, у нас с ним завязался крупный разговор. А тут ещё много наших офицеров было. «Если вы так утверждаете, говорит, что на этой седловине есть кусты, то извольте завтра же ехать туда со мной верхом... Я вам докажу, что вы или небрежно работали, или счертили прямо с трехверстной карты...»

— Но почему же он так уверенно говорил, что там нет кустов?

— Ах, господи, почему? Какие ты, ей-богу, детские вопросы задаёшь. Да потому, что он вот уже двадцать лет местность эту знает лучше, чем свою спальню. Самый безобразнейший педант, какие только есть на свете, да ещё немец вдобавок... Ну и окажется в конце концов, что я лгу и в препирательство вступаю... Кроме того...

Во всё время разговора он вытаскивал из стоявшей перед ним пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол. Видно было, что этому сильному человеку хочется заплакать.

Муж и жена долго сидели в тяжёлом раздумье, не произнося ни слова. Но вдруг Верочка энергичным движением вскочила с кресла.

— Слушай, Коля, нам надо сию минуту ехать! Одевайся скорее.

Николай Евграфович весь сморщился, точно от невыносимой физической боли.

— Ах, не говори, Вера, глупостей. Неужели ты думаешь, я поеду оправдываться и извинять-

ся. Это значит над собой прямо приговор подписать. Не делай, пожалуйста, глупостей.

— Нет, не глупости, — возразила Вера, топнув ногой. — Никто тебя не заставляет ехать с извинением... А просто, если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить сейчас же.

— Посадить?.. Кусты?.. — вытаращил глаза Николай Евграфович.

— Да, посадить. Если уж сказал раз неправду — надо поправлять. Собирайся, дай мне шляпку... Кофточку... Не здесь ищешь, посмотри в шкапу... Зонтик!

Пока Алмазов, пробовавший было возражать, но невыслушанный, отыскивал шляпку и кофточку, Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и разбрасывала по полу.

— Серьги... Ну, это пустяки... За них ничего не дадут... А вот это кольцо с солитёром дорогое... Надо непременно выкупить... Жаль будет, если пропадёт. Браслет... тоже дадут очень мало. Старинный и погнутый... Где твой серебряный портсигар, Коля?

Через пять минут все драгоценности были уложены в ридикюль. Вера, уже одетая, последний раз оглядывалась кругом, чтобы удостовериться, не забыто ли что-нибудь дома.

— Едем, — сказала она наконец решительно.

— Но куда же мы поедем? — пробовал протестовать Алмазов. — Сейчас темно станет, а до моего участка почти десять вёрст.

— Глупости... Едем!

Раньше всего Алмазовы заехали в ломбард. Видно было, что оценщик так давно привык к ежедневным зрелищам человеческих несчастий, что они вовсе не трогали его. Он так методично и долго рассматривал привезённые вещи, что Верочка начала уже выходить из себя. Особенно обидел он её тем, что попробовал кольцо с брильянтом кислотой и, взвесив, оценил его в три рубля.

— Да ведь это настоящий брильянт, — возмущалась Вера, — он стоит тридцать семь рублей, и то по случаю.

Оценщик с видом усталого равнодушия закрыл глаза.

— Нам это всё равно-с, сударыня. Мы камни вовсе не принимаем, — сказал он, бросая на чашечку весов следующую вещь, — мы оцениваем только металлы-с.

Зато старинный и погнутый браслет, совершенно неожиданно для Веры, был оценён очень дорого. В общем, однако, набралось около двадцати трёх рублей. Этой суммы было более чем достаточно.

Когда Алмазовы приехали к садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу и в воздухе синим молоком. Садовник, чех, маленький старичок в золотых очках, только что садился со своей семьёй за ужин. Он был очень изумлён и недоволен поздним появлением заказчиков и их необычной просьбой. Вероятно, он заподозрил какую-нибудь мистификацию и на Верочкины настойчивые просьбы отвечал очень сухо:

— Извините. Но я ночью не могу посылать в такую даль рабочих. Если вам угодно будет завтра утром — то я к вашим услугам.

Тогда оставалось только одно средство: рассказать садовнику подробно всю историю с злополучным пятном, и Верочка так и сделала. Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждебно, но когда Вера дошла до того, как у неё возникла мысль посадить куст, он сделался внимательнее и несколько раз сочувственно улыбался.

— Ну, делать нечего, — согласился садовник, когда Вера кончила рассказывать, — скажите, какие вам можно будет посадить кусты?

Однако из всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей: волею неволей пришлось остановиться на кустах сирени.

Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем за город, всё время, пока сажали кусты, горячо суетилась и мешала рабочим и только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дёрн около кустов совершенно нельзя отличить от травы, покрывавшей всю седловинку.

На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улице. Она ещё издали, по одной только живой и немного подпрыгивающей походке, узнала, что история с кустами кончилась благополучно... Действительно, Алмазов был весь в пыли и едва держался на ногах от усталости и голода,

но лицо его сияло торжеством одержанной победы.

— Хорошо! Прекрасно! — крикнул он ещё за десять шагов в ответ на тревожное выражение женина лица. — Представь себе, приехали мы с ним к этим кустам. Уж глядел он на них, глядел, даже листочек сорвал и пожевал. «Что это за дерево?» — спрашивает. Я говорю: «Не знаю, ваше-ство». — «Берёзка, должно быть?» — говорит. Я отвечаю: «Должно быть, берёзка, ваше-ство». Тогда он повернулся ко мне и руку даже протянул. «Извините, говорит, меня, поручик. Должно быть, я стареть начинаю, коли забыл про эти кустики». Славный он, профессор, и умница такой. Право, мне жаль, что я его обманул. Один из лучших профессоров у нас. Знания — просто чудовищные. И какая быстрота и точность в оценке местности — удивительно!

Но Вере было мало того, что он рассказывал. Она заставляла его ещё и ещё раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась самыми мельчайшими деталями: какое было выражение лица у профессора, каким тоном он говорил про свою старость, что чувствовал при этом сам Коля...

И они шли домой так, как будто бы, кроме них, никого на улице не было: держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы ещё раз взглянуть на эту странную парочку...

Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день. После обеда,

когда Вера принесла Алмазову в кабинет стакан чаю, муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга.

— Ты — чему? — спросила Вера.

— А ты чему?

— Нет, ты говори первый, а я потом.

— Да так, глупости. Вспомнилась вся эта история с сиренью. А ты?

— Я тоже глупости, и тоже — про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком...

1894

СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ

Было часов шесть-семь хорошего сентябрьского утра, когда полуторагодовалый пойнтер Джек, коричневый, длинноухий весёлый пёс, отправился вместе с кухаркой Аннушкой на базар. Он отлично знал дорогу и потому уверенно бежал всё время впереди, обнюхивая мимоходом тротуарные тумбы и останавливаясь на перекрёстках, чтобы оглянуться на кухарку. Увидев в её лице и походке подтверждение, он решительно сворачивал и пускался вперёд оживлённым галопом.

Обернувшись таким образом около знакомой колбасной лавки, Джек не нашёл Аннушки. Он бросился назад так поспешно, что даже его левое ухо завернулось от быстрого бега. Но Аннушки не было видно и с ближнего перекрёстка. Тогда Джек решил ориентироваться по запаху. Он остановился и, осторожно водя во все стороны мокрым подвижным носом, старался уловить в воздухе знакомый запах Аннушкиного платья, запах грязного кухонного стола и серого мыла. Но в эту минуту мимо Джека прошла торопливой походкой какая-то женщина и, задев

его по боку шуршащей юбкой, оставила за собой сильную струю отвратительных китайских духов. Джек досадливо махнул головою и чихнул, — Аннушкин след был окончательно потерян.

Однако пойнтер вовсе не пришёл от этого в уныние. Он хорошо был знаком с городом и потому всегда очень легко мог найти дорогу домой: стоило только добежать до колбасной, от колбасной — до зеленой лавки, затем повернуть налево мимо большого серого дома, из подвалов которого всегда так вкусно пахло пригорелым маслом, — и он уже на своей улице. Но Джек не торопился. Утро было свежее, яркое, а в чистом, нежно-прозрачном и слегка влажном воздухе все оттенки запахов приобретали необычайную тонкость и отчётливость. Пробегая мимо почты с вытянутым, как палка, хвостом и вздрагивающими ноздрями, Джек с уверенностью мог сказать, что не более минуты тому назад здесь останавливался большой, мышастый, немолодой дог, которого кормят обыкновенно овсянкой.

И действительно, пробежав шагов двести, он увидел этого дога, трусившего степенной рысцой. Уши у дога были коротко обрезаны, и на шее болтался широкий истёртый ремень.

Дог заметил Джека и остановился, полубернувшись назад. Джек вызывающе закрутил кверху хвост и стал медленно подходить к незнакомцу, делая вид, будто смотрит куда-то в сторону. Мышастый дог сделал то же со своим хвостом и широко оскалил белые зубы. Потом они

оба зарычали, отворотив друг от друга морды и как будто бы захлёбываясь.

«Если он мне скажет что-нибудь оскорбительное для моей чести или для чести всех порядочных пойнтеров вообще, я вцеплюсь ему в бок, около левой задней ноги, — подумал Джек. — Дог, конечно, сильнее меня, но он неповоротлив и глуп. Ишь, стоит, болван, боком и не подозревает, что открыл весь левый фланг для нападения».

И вдруг... Случилось что-то необъяснимое, почти сверхъестественное. Мышастый дог внезапно грохнулся на спину, и какая-то невидимая сила повлекла его с тротуара. Вслед за этим та же невидимая сила плотно охватила горло изумлённого Джека... Джек упёрся передними ногами и яростно замотал головой. Но незримое «что-то» так стиснуло его шею, что коричневый пойнтер лишился сознания.

Он пришёл в себя в тесной железной клетке, которая тряслась по камням мостовой, дребезжа всеми своими плохо свинченными частями. По острому собачьему запаху Джек тотчас же догадался, что клетка уже много лет служила помещением для собак всех возрастов и пород. На козлах впереди клетки сидели два человека наружности, не внушавшей никакого доверия.

В клетке уже собралось довольно многочисленное общество. Прежде всего Джек заметил мышастого дога, с которым он чуть не поссорился на улице. Дог стоял, уткнувши морду между двумя железными палками, и жалобно повизгивал, между тем как его тело качалось взад и впе-

рѣд от тряски. Посредине клетки лежал, вытянувши умную морду между ревматическими лапами, старый белый пудель, выстриженный наподобие льва, с кисточками на коленках и на конце хвоста. Пудель, по-видимому, относился к своему положению с философским стоицизмом, и, если бы не вздыхал изредка и не помаргивал бровями, можно было бы подумать, что он спит. Рядом с ним сидела, дрожа от утреннего холода и волнения, хорошенькая, выхоленная левретка с длинными, тонкими ножками и остренькой мордочкой. Время от времени она нервно зевала, свивая при этом трубочкой свой розовый язычок и сопровождая каждый зевок длинным тонким визгом... Ближе к заднему концу клетки плотно прижалась к решѣтке чёрная гладкая такса с жѣлтыми подпалинами на груди и бровях. Она никак не могла оправиться от изумления, которое придавало необыкновенно комичный вид её длинному, на вывороченных низких лапах, туловищу крокодила и серьёзной мордочке с ушами, чуть не волочившимися по полу.

Кроме этой более или менее светской компании, в клетке находились ещё две несомненные дворняжки. Одна из них, похожая на тех псов, что повсеместно зовутся Бутонами и отличаются низменным характером, была космата, рыжа и имела пушистый хвост, завернутый в виде цифры 9. Она попала в клетку раньше всех и, по-видимому, настолько освоилась со своим исключительным положением, что давно уже искала случая завязать с кем-нибудь интересный

разговор. Последнего пса почти не было видно; он забился в самый тёмный угол и лежал там, свернувшись клубком. За всё время он только один раз приподнялся, чтобы зарычать на близко подошедшего к нему Джека, но и этого было довольно для возбуждения во всём случайном обществе сильнейшей антипатии к нему. Во-первых, он был фиолетового цвета, в который его вымазала шедшая на работу артель маляров. Во-вторых, шерсть на нём стояла дыбом и при этом отдельными клоками. В-третьих, он, очевидно, был зол, голоден, отважен и силён; это сказало в том решительном толчке его исхудалого тела, с которым он вскочил навстречу опешившему Джеку.

Молчание длилось с четверть часа. Наконец Джек, которого ни в каких жизненных случаях не покидал здравый юмор, заметил фатовским тоном:

— Приключение начинает становиться интересным. Любопытно, где эти джентльмены делают первую станцию?

Старому пуделю не понравился легкомысленный тон коричневого пойнтера. Он медленно повернул голову в сторону Джека и отрезал с холодной насмешкой:

— Я могу удовлетворить ваше любопытство, молодой человек. Джентльмены сделают станцию в живодёрне.

— Как!.. Позвольте... виноват... я не расслышал, — пробормотал Джек, невольно присаживаясь, потому что у него мгновенно задрожали ноги. — Вы изволили сказать: в жи...